

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Соловей



В Китае, как ты, наверное, знаешь, и сам император китаец, и все его подданные китайцы.

Давным-давно это было, но потому-то и стоит рассказать эту историю, пока она еще не совсем позабыта.

Во всем мире не нашлось бы дворца лучше, чем у китайского императора. Он весь был из драгоценного фарфора, такого тонкого и хрупкого, что и дотронуться страшно. В саду росли диковинные цветы, и к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Они звенели, чтобы никто не прошел мимо, не заметив цветов. Вот как хитро было придумано!

Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. За садом был чудесный лес с высокими деревьями и глубокими озерами, и доходил он до самого синего моря. Большие корабли могли заплывать прямо под ветви, и здесь, у самого берега моря, жил соловей. Пел он так дивно, что его заслушивался даже бедный рыбак, у которого и без того дел хватало.

Со всех концов света приезжали в столицу императора путешественники; все они дивились дворцу и саду, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!» Вернувшись домой, они рассказывали об увиденном. Ученые описывали в книгах

столицу, дворец и сад императора и никогда не забывали о соловье – его хвалили особенно; поэты слагали чудесные стихи о соловье, живущем в лесу у синего моря.

Книги расходились по всему свету, и некоторые дошли до самого императора. Он сидел в своем золотом кресле, читал и каждую минуту кивал головой – очень уж приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» – стояло в книге.

– Как! – сказал император. – Что за соловей? Ничего о таком не знаю! Неужто в моей империи, и даже в моем собственном саду, есть такая птица, а я о ней ничего не слышал? И вот приходится вычитывать такое из книг!

И он послал за своим первым министром. Тот был такой важный, что если кто-нибудь чином пониже осмеливался заговорить с ним или спросить о чем-либо, он отвечал только: «П!» – что равно ничего не значит.

– Говорят, у нас есть замечательная птица по имени соловей, – сказал император. – Говорят, лучше ее нет ничего в моем государстве. Почему мне ни разу о ней не докладывали?

– Никогда не слышал такого имени, – сказал министр. – Наверное, она не была представлена ко двору!..

– Желая, чтобы она явилась во дворец и пела предо мной сегодня же вечером! – сказал император. – Весь свет знает, что у меня есть, а я не знаю!

– Никогда не слышал такого имени! – повторил министр. – Будем искать, разыщем!

А где ее разыщешь?

Министр бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из придворных, к которым он обращался, ничего не слышал о соловье. Тогда министр снова прибежал к императору и заявил, что сочинители, верно, рассказывают сказки.

– Ваше императорское величество! Не верьте всему, что пишут в книгах! Все это одни выдумки, так сказать, черная магия!

– Но ведь книга, в которой я прочел о соловье, прислана мне могущественным императором Японии, в ней не может быть неправды! Хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня вечером! Объявляю ему мое высочайшее благоволение! А если его не будет, весь двор, как отужинает, будет бит палками по животу!

– Цзин-пе! – сказал первый министр и снова забегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, а с ним вместе забегала и половина придворных – уж больно им не хотелось, чтобы их били палками по животу. И все лишь об одном и спрашивали: что это за соловей, которого весь свет знает и только при дворе никто не знает.

Наконец на кухне нашли одну бедную девочку. Она сказала:

– Господи! Как не знать соловья! Вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет она у самого моря. И вот когда на обратном пути я устану и присяду отдохнуть в лесу, я слушаю соловья. Слезы так и потекут из глаз, а на душе-то так радостно, словно матушка целует меня!

– Девочка, – сказал министр, – я зачислю вас на должность при кухне и исхлопочу вам позволение посмотреть, как кушает император, если вы проведете нас к соловью. Он приглашен сегодня вечером к императору!

И вот все отправились в лес, в котором жил соловей. Шли они, шли, как вдруг замычала корова.

– О! – сказал камер-юнкер. – Вот он! Какая, однако, сила у такого маленького создания! Мне определенно уже доводилось слышать его!

– Нет, это корова мычит! – отвечала маленькая кухарка. – А нам

еще далеко идти!

Вот в пруду заквакали лягушки.

– Восхитительно! Восхитительно! – сказал придворный священник.

– Теперь я его слышу! Точь-в-точь как малые колокола!

– Нет, это лягушки! – отвечала маленькая кухарка. – Но теперь, пожалуй, скоро услышим и его!

И вот запел соловей.

– Вот он! – сказала девочка. – Слушайте! Слушайте! А вон и он сам!

И она указала на серенькую птичку среди ветвей.

– Возможно ли! – сказал министр. – Никак не вообразал его себе таким! Уж больно простоват на вид! Верно, он стусевался при виде стольких знатных особ.

– Соловушка! – громко крикнула девочка. – Наш милостивый император хочет, чтобы ты ему спел!

– С величайшим удовольствием! – отвечал соловей и запел так, что любо-дорого было слушать.

– Совсем как стеклянные колокольчики! – сказал министр. – Смотрите, как он старается горлышком! Просто удивительно, что мы не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

– Спеть ли мне еще для императора? – спросил соловей. Он думал, что император был тут.

– Мой несравненный соловушка! – сказал министр. – Имею приятную честь пригласить вас на имеющий быть сегодня придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его императорское величество своим восхитительным пением!

– Меня лучше всего слушать в лесу! – сказал соловей, но все же

охотно подчинился воле императора и последовал за придворными.

А дворец-то как украшали! Фарфоровые стены и пол сверкали тысячами золотых фонариков, в проходах были выставлены самые лучшие цветы с колокольчиками. Беготни и сквозняку было куда как много, но все колокольчики звенели так, что ничего не было слышно.

Посреди огромного зала, где сидел император, установили золотой шест для соловья. Весь двор был в сборе, а маленькой кухарке дозволили стать в дверях – ведь она уже была в звании придворной поварихи. Все надели свои лучшие наряды, и все глядели на маленькую серую птичку, а император кивнул ей головой.

И соловей запел так дивно, что у императора слезы набежали на глаза, и тогда еще краше запел соловей, и песнь его хватала за сердце. Император был очень доволен и хотел пожаловать соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей с благодарностью отказался:

– Я видел на глазах императора слезы, и для меня нет ничего драгоценнее! Слезы императора-это ведь настоящее чудо! Я награжден с избытком!

И он вновь запел своим дивным, сладостным голосом.

– Ах, очаровательнее кокетства и помыслить нельзя! – говорили придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы булькать, когда с ними кто-нибудь заговорит. Им казалось, что тогда они сами будут похожи на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что они довольны, а ведь это немало – угодить им труднее всего. Да, соловей положительно имел успех.

Его определили при дворе, отвели ему собственную клетку и разрешили гулять два раза днем и один раз ночью. К нему приставили двенадцать слуг, и каждый держал его за привязанную к лапке шелковую ленточку. И прогулка была ему не в прогулку.

Весь город говорил об удивительной птице, и когда двое знакомых встречались, один сейчас же говорил: «соло», а другой доканчивал: «вей!»

– и оба вздыхали, поняв друг друга. А еще именем соловья были названы одиннадцать сыновей мелочных торговцев, хотя всем им слон на ухо наступил.

И вот однажды императору пришел большой пакет с надписью: «Соловей».

– Не иначе как еще одна книга о нашей знаменитой птице, – сказал император.

Но это была не книга, а шкатулка с затейливой штучкой – искусственным соловьем. Он был совсем как настоящий и весь отделан алмазами, рубинами и сапфирами. Заведешь его – и он мог спеть песню настоящего соловья, и его хвост при этом так и ходил вверх и вниз, отливая золотом и серебром. На шее у него была ленточка с надписью: «Соловей императора Японии ничто по сравнению с соловьем императора китайского».

– Какая прелесть! – сказали все в один голос, и того, кто принес искусственного соловья, тотчас утвердили в звании «обер-поставщика соловьев его величества».

– Теперь пусть-ка споют вместе, интересно, выйдет у них дуэт?

И им пришлось спеть вместе, но дело на лад не пошло: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный – как шарманка.

– Он не виноват, – сказал придворный капельмейстер. – Он отлично выдерживает такт и поет строго по моему методу!

И вот искусственного соловья заставили петь одного. Он имел не меньший успех, чем настоящий, но был куда красивее, весь так и сверкал драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Все были не прочь послушать его еще раз, да тут император сказал, что

теперь должен спеть немного и настоящий соловей.

Но куда же он делся? Никто и не заметил, как он выпорхнул в открытое окно и улетел в свой зеленый лес.

– Что же это такое? – сказал император, и все придворные возмутились и назвали соловья неблагодарным.

– Все равно тот соловей, что остался у нас, лучше, – сказали они, и искусственному соловью пришлось петь опять, и все в тридцать четвертый раз услышали одну и ту же песенку. Однако придворные так и не запомнили ее наизусть, такая она была трудная. А капельмейстер знай хваливал искусственного соловья и утверждал даже, что он лучше настоящего не только нарядом и чудесными алмазами, но и внутренним своим складом.

– Извольте видеть, ваше величество, и вы, господа, про живого соловья никогда нельзя знать наперед, что он споет, а про искусственного можно! Именно так, и не иначе! В искусственном соловье все можно понять, его можно разобрать и показать человеческому уму, как расположены валики, как они вертятся, как одно следует из другого!..

– И я тоже так думаю! – в голос сказали все, и капельмейстер получил разрешение в следующее же воскресенье показать искусственного соловья народу.

– Пусть и народ послушает его! – сказал император.

И народ слушал и остался очень доволен, как будто вдоволь напился чаю

– это ведь так по-китайски. И все говорили: «0!» – и поднимали в знак одобрения палец и кивали головами. Только бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

– Недурно и очень похоже, да вот чего-то недостает, сами не знаем чего.

Настоящего соловья объявили изгнанным из пределов страны, а

искусственный занял место на шелковой подушке у постели императора. Вокруг него лежали преподнесенные ему подарки, а сам он был возведен в звание «певца ночного столика его императорского величества номер один слева», потому что самым почетным император считал место, где расположено сердце, а сердце расположено слева даже у императоров. А капельмейстер написал об искусственном соловье ученый труд в двадцати пяти томах, полный самых трудных китайских слов, и придворные говорили, что прочли и поняли его, не то они показали бы себя дураками и были бы биты палками по животу.

Так прошел год. Император, придворные и все прочие китайцы знали наизусть каждое коленце в песне искусственного соловья, но как раз поэтому он им и нравился. Теперь они и сами могли подпевать ему. «Ци-ци-ци! Клюк-клюдклюд!» – распевали уличные мальчишки, и то же самое напевал император. Ах, что за прелесть!

Но вот однажды вечером искусственный соловей пел во всю мочь, а император лежал в постели, слушая его, как вдруг внутри соловья что-то щелкнуло, колесики побежали впустую, и музыка смолкла.

Император сейчас же вскочил с постели и послал за своим лейб-медиком, но что тот мог поделать? Призвали часовщика, и после длинных разговоров и долгих осмотров он кое-как подправил соловья, но сказал, что его надо поберечь, потому как шестеренки поистерлись, а поставить новые, так, чтобы музыка шла по-прежнему, невозможно. Ах, какое это было огорчение! Теперь соловья заводили только раз в год, и даже это казалось чудом. А капельмейстер произнес краткую речь, полную всяких умных слов, – дескать, все по-прежнему хорошо. Ну, значит, так оно и было.

Прошло пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, заболел, и жить ему осталось недолго. Уже подобрали и нового императора. На улице стоял народ и спрашивал первого министра, что с их прежним

повелителем.

– П! – только и отвечал министр и покачивал головой.

Бледный и похолодевший лежал император на своем пышном ложе. Все придворные решили, что он уже умер, и каждый спешил на поклон к новому владыке. Слуги выбегали из дворца поболтать об этом, а служанки приглашали к себе гостей на чашку кофе. По всем залам и проходам расстелили ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и всюду было так тихо, так тихо... Только император еще не умер. Закоченевший и бледный лежал он на пышном ложе под бархатным балдахинном с тяжелыми золотыми кистями. А с высоты в открытое окно светила на императора и искусственного соловья луна.

Бедняга император дышал с трудом, и казалось ему, будто на груди у него кто-то сидит. Он открыл глаза и увидел, что на груди у него сидит Смерть. Она надела его золотую корону и держала в одной руке его золотую саблю, в другой его славное знамя. А вокруг из складок бархатного балдахина выглядывали диковинные лица, одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые: это смотрели на императора все его злые и добрые дела, ведь на груди у него сидела Смерть.

– Помнишь? – шептали они одно за другим. – Помнишь? – И рассказывали ему столько, что на лбу у него выступил пот.

– Я об этом никогда не знал! – говорил император. – Музыки мне, музыки, большой китайский барабан! – кричал он. – Не хочу слышать их речей!

А они продолжали, и Смерть, как китаец, кивала головой на все, что они говорили.

– Музыки мне, музыки! – кричал император. – Пой хоть ты, милая золотая птичка, пой! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я собственноручно повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но искусственный соловей молчал – некому было завести его, а иначе он петь не мог. А Смерть все смотрела и смотрела на императора своими большими пустыми глазницами, и было так тихо, страшно тихо...

И вдруг раздалось чудесное пение. Это пел живой соловей. Он сидел за окном на ветке, он прослышал про болезнь императора и прилетел утешить и ободрить его своей песней. Он пел, и призраки все бледнели, кровь все убыстряла свой бег в слабом теле императора, и даже сама Смерть слушала соловья и повторяла:

– Пой, соловушка, пой еще!

– А ты отдашь мне золотую саблю? И славное знамя? И корону?

И Смерть отдавала одну драгоценность за другой, а соловей все пел. Он пел о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает сирень и свежая трава увлажняется слезами живых. И Смерть охватила такая тоска по своему саду, что она холодным белым туманом выплыла из окна.

– Спасибо, спасибо, чудесная птичка! – сказал император. – Я не забыл тебя! Я изгнал тебя из страны, но ты все же отогнала от моей постели ужасные призраки, согнала с моей груди Смерть. Как мне наградить тебя?

– Ты уже вознаградил меня! Я исторг у тебя слезы в первый раз, когда пел перед тобой, – этого я никогда не забуду! Нет награды дороже для сердца певца. Ну, а теперь спи и просыпайся здоровым и бодрым! Я спою для тебя.

И он запел, и император заснул сладким сном. Ах, какой спокойный и благотворный был этот сон!

Когда он проснулся, в окно уже светило солнце. Никто из слуг не заглядывал к нему, все думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел.

– Ты должен остаться со мной навсегда! – сказал император. –

Будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственного соловья я разобью вдребезги.

– Не надо! – сказал соловей. – Он сделал все, что мог. Пусть остается у тебя. Я не могу жить во дворце, позволь лишь прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я буду садиться вечером у твоего окна и петь тебе, и моя песнь порадует тебя и заставит задуматься. Я буду петь о счастливых и несчастных, о добре и зле, укрытых от твоих глаз. Певчая птичка летает повсюду, навевается и к бедному рыбаку и к крестьянину – ко всем, кто живет далеко от тебя и твоего двора. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за корону. Я буду прилетать и петь тебе! Но обещаю мне одно...

– Все что угодно! – сказал император и встал во всем своем царственном убранстве – он сам облекся в него, а к груди он прижимал свою тяжелую золотую саблю.

– Об одном прошу я тебя: не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше.

И соловей улетел.

Слуги вошли поглядеть на мертвого императора – и застыли на пороге, а император сказал им:

– С добрым утром!

(Голосов: 2. Рейтинг: 1,50 из 5)

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Ангел



Каждый раз, как умирает доброе, хорошее дитя, с неба спускается божий ангел, берет дитя на руки и облетает с ним на своих больших крыльях все его любимые места. По пути они набирают целый букет разных цветов и берут их с собою на небо, где они расцветают еще пышнее, чем на земле. Бог прижимает все цветы к своему сердцу, а один цветок, который покажется ему милее всех, целует; цветок получает тогда голос и может присоединиться к хору блаженных духов.

Все это рассказывал божий ангел умершему ребенку, унося его в своих объятиях на небо; дитя слушало ангела, как сквозь сон. Они пролетали над теми местами, где так часто играло дитя при жизни, пролетали над зелеными садами, где росло множество чудесных цветов.

– Какие же взять нам с собою на небо? – спросил ангел.

В саду стоял прекрасный, стройный розовый куст, но чья-то злая рука надломил его, так что ветви, усыпанные крупными полураспустившимися бутонами, почти совсем завяли и печально повисли.

– Бедный куст! – сказала дитя.– Возьмем его, чтобы он опять расцвел там, на небе.

Ангел взял куст и так крепко поцеловал дитя, что оно слегка приоткрыло глазки. Потом они нарвали еще много пышных цветов, но, кроме них, взяли и скромный златоцвет и простенькие аютины глазки.

– Ну вот, теперь и довольно! – сказал ребенок, но ангел покачал головой и они полетели дальше.

Ночь была тихая, светлая; весь город спал, они пролетали над одной из самых узких улиц. На мостовой валялись солома, зола и всякий хлам: черепки, обломки алебаstra, тряпки, старые донышки от шляп, словом, все, что уже отслужило свой век или потеряло всякий вид; накануне как раз был день переезда. (В Копенгагене квартиры нанимаются обыкновенно на полугодовой срок, с 1 марта по 1 сентября и с 1 сентября по 1 марта; это два дня в году и служат днями общего переезда с квартиры на квартиру – Примеч. перев.)

И ангел указал на валявшийся среди этого хлама разбитый цветочный горшок, из которого вывалился ком земли, весь оплетенный корнями большого полевого цветка: цветок завял и никуда больше не годился, его и выбросили.

– Возьмем его с собой! – сказал ангел.– Я расскажу тебе про этот цветок, пока мы летим!

И ангел стал рассказывать.

– В этой узкой улице, в низком подвале, жил бедный больной мальчик. С самых ранних лет он вечно лежал в постели; когда же чувствовал себя хорошо, то проходил на костылях по своей каморке раза два взад и вперед, вот и все. Иногда летом солнышко заглядывало на полчаса и в подвал; тогда мальчик садился на солнышке и, держа руки против света, любовался, как просвечивает в его тонких пальцах алая кровь; такое сидение на солнышке заменяло ему прогулку. О богатом весеннем уборе лесов

он знал только потому, что сын соседа приносил ему весной первую распутившуюся букую веточку; мальчик держал ее над головой и переносился мыслью под зеленые буки, где сияло солнышко и распевали птички. Раз сын соседа принес мальчику и полевых цветов, между ними был один с корнем; мальчик посадил его в цветочный горшок и поставил на окно близ своей кровати. Видно, легкая рука посадила цветок: он принялся, стал расти, пускать новые отростки, каждый год цвел и был для мальчика целым садом, его маленьким земным сокровищем. Мальчик поливал его, ухаживал за ним и заботился о том, чтобы его не миновал ни один луч, который только пробирался в каморку. Ребенок жил и дышал своим любимцем, ведь тот цвел, благоухал и хорошел для него одного. К цветку повернулся мальчик даже в ту последнюю минуту, когда его отзывал к себе господь бог... Вот уже целый год, как мальчик у бога; целый год стоял цветок, всеми забытый, на окне, завял, засох и был выброшен на улицу вместе с прочим хламом. Этот-то бедный, увядший цветок мы и взяли с собой: он доставил куда больше радости, чем самый пышный цветок в саду королевы.

– Откуда ты знаешь все это? – спросило дитя.

– Знаю! – отвечал ангел. – Ведь я сам был тем бедным калекою мальчиком, что ходил на костылях! Я узнал свой цветок!

И дитя широко-широко открыло глазки, вглядываясь в прелестное, радостное лицо ангела. В ту же самую минуту они очутились на небе у бога, где царят вечные радость и блаженство. Бог прижал к своему сердцу умершее дитя – и у него выросли крылья, как у других ангелов, и он полетел рука об руку с ними. Бог прижал к сердцу и все цветы, поцеловал же только бедный, увядший полевой цветок, и тот присоединил свой голос к хору ангелов, которые окружали бога; одни летали возле него, другие подальше, третьи еще дальше, и так до бесконечности, но все были равно блаженны. Все они пели – и малые, и большие, и доброе, только что умершее дитя, и бедный полевой цветочек, выброшенный на мостовую вместе с сором и хламом.

(Голосов: 2. Рейтинг: 1,50 из 5)

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Роза с могилы Гомера



Все восточные сказания говорят о любви соловья к розе: в тихие звездные ночи несется к благоухающему цветку серенада крылатого певца.

Недалеко от Смирны, возле дороги, окаймленной высокими платанами, видел я цветущий розовый куст. Мимо него проходят, гордо выпрямляя свои длинные шеи и неуклюже ступая по священной земле тонкими ногами, навьюченные верблюды. В ветвях платанов гнездятся дикие голуби, и крылья их блещут на солнце перламутром.

На этом розовом кусте особенно хороша была одна роза; к ней-то и неслась песня соловья; он пел страданиях любви, но роза молчала; ни капли росы не блестело на ее лепестках слезою сострадания; она клонилась вместе с ветвями к лежащему под

кустом большому камню.

– Тут покоится величайший из певцов земных! – говорила роза. – Лишь над его могилой буду я благоухать, на нее буду ронять свои лепестки, оборванные ветром! Прах творца «Илиады» смешался с землею, и из этой земли выросла я! Я, роза с могилы Гомера, слишком священна, чтобы цвести для какого-то бедного соловья!

И соловей пел, пел, пока не умер.

Проходил караван; за начальником каравана шли навьюченные верблюды и черные рабы. Маленький сын его нашел мертвую птицу, и крошечного певца зарыли в могиле великого Гомера, над которую качалась от дуновения ветра роза.






Настал вечер; роза плотнее свернула лепестки и заснула. И снился ей чудный солнечный день; на поклонение к могиле Гомера пришла толпа чужеземцев-франков; между ними был певец из страны туманов и северного сияния. Он сорвал розу, вложил ее в книгу и увез с собою в другую часть света, на свою далекую родину. И роза увяла от тоски, а певец, вернувшись домой, открыл книгу и сказал:

– Это роза с могилы Гомера!

Вот что снилось розе; проснувшись, она вся затрепетала от сильного порыва ветра. Капля росы упала с ее лепестков на могилу певца, но вот встало солнце, и роза расцвела пышнее прежнего, – она все еще была ведь в своей теплой Азии.

Послышались шаги, явились чужеземцы-франки, которых видела роза во сне, и между ними был один поэт, уроженец севера. Он сорвал розу, запечатлел на ее свежих устах свой поцелуй и увез ее в страну туманов и северного сияния. Как мумия покоится она теперь в его «Илиаде» и, словно сквозь сон, слышит. Как он говорит, открывая книгу:

– Вот роза с могилы Гомера.

     (Голосов: 2. Рейтинг: 1,50 из 5)

 Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Побратимы

Мы только что сделали маленькое путешествие и опять пустились в новое, более далекое. Куда? В Спарту! В Микены! В Дельфы! Там тысячи мест, при одном названии которых сердце вспыхивает желанием путешествовать. Там приходится пробираться верхом, взбираться по горным тропинкам, продираться сквозь кустарники и ездить не иначе, как целым караваном. Сам едешь верхом рядом с проводником, затем идет вьючная лошадь с чемоданом, палаткой и провизией и, наконец, для прикрытия, двое солдат. Там уж нечего надеяться отдохнуть после утомительного дневного перехода в гостинице; кровом путнику должна служить его собственная палатка; проводник готовит к ужину пилав; тысячи комаров жужжат вокруг палатки; какой уж тут сон! А наутро предстоит переезжать вброд широко разлившиеся речки; тогда крепче держись в седле – как раз снесет!

Какая же награда за все эти мытарства? Огромная, драгоценнейшая! Природа предстает здесь перед человеком во всем своем величии; с каждым местом связаны бессмертные исторические воспоминания – глазам и мыслям полное раздолье! Поэт может воспеть эти чудесные картины природы, художник – перенести их на полотно, но самого обаяния действительности, которое навеки запечатлевается в душе всякого, видевшего их воочию, не в силах передать ни тот, ни другой.

Одинокий пастух, обитатель диких гор, расскажет путешественнику что-нибудь из своей жизни, и его простой,

бесхитростный рассказ представит, пожалуй, в нескольких живых штрихах страну эллинов куда живее и лучше любого путеводителя.

Так пусть же он рассказывает! Пусть расскажет нам о прекрасном обычае побратимства.

– Мы жили в глиняной мазанке; вместо дверных косяков были рубчатые мраморные колонны, найденные отцом. Покатая крыша спускалась чуть не до земли; я помню ее уже некрасивую, почерневшую, но когда жилье крыли, для нее принесли с гор цветущие олеандры и свежие лавровые деревья. Мазанка была стиснута голыми серыми отвесными, как стена, скалами. На вершинах скал зачастую покоились, словно какие-то живые белые фигуры, облака. Никогда не слышал я здесь ни пения птиц, ни музыкальных звуков волынки, не видал веселых плясок молодежи; зато самое место было освящено преданиями старины; имя его само говорит за себя: Дельфы! Темные, угрюмые горы покрыты снегами; самая высокая гора, вершина которой дольше всех блестит под лучами заходящего солнца, зовется Парнасом. Источник, журчавший как раз позади нашей хижины, тоже слыл в старину священным; теперь его мутят своими ногами ослы, но быстрая струя мчится без отдыха и опять становится прозрачной. Как знакомо мне тут каждое местечко, как сжился я с этим глубоким священным уединением! Посреди мазанки разводили огонь, и когда от костра оставалась только горячая зола, в ней пекли хлебы. Если мазанку нашу заносило снегом, мать моя становилась веселее, брала меня за голову обеими руками, целовала в лоб и пела те песни, которых в другое время петь не смела: их не любили наши властители турки. Она пела: «На вершине Олимпа, в сосновом лесу, старый плакал олень, плакал горько, рыдал неутешно, и зеленые, синие, красные слезы лились на землю ручьями, а мимо тут лань проходила. «Что плачешь, олень, что роняешь зеленые, синие, красные слезы?» – «В наш город нагрянули турки толпой, а с ними собак кровожадных стаи!» – «Я их погону по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубь!» – Так лань говорила, но вечер настал – ах, лань уж убита и загнан олень!»

Тут на глазах матери наворачивались слезы и повисали на длинных ресницах, но она смахивала их и переворачивала пекшиеся в золе черные хлебы на другую сторону. Тогда я сжимал кулаки и говорил:

«Мы убьем этих турок!» Но мать повторяла слова песни:

«Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубину!» – Так лань говорила, но вечер настал – ах, лань уж убита и загнан олень!»

Много ночей и дней проводили мы одни-одинешеньки с матерью; но вот приходил отец. Я знал, что он принесет мне раковин из залива Лепанто или, может быть, острый блестящий нож. Но раз он принес нам ребенка, маленькую нагую девочку, которую нес завернутую в козью шкуру под своим овчинным тулупом. Он положил ее матери на колени, и когда ее развернули, оказалось, что на ней нет ничего, кроме трех серебряных монет, вплетенных в ее черные волосы. Отец рассказал нам, что турки убили родителей девочки, рассказал и еще много другого, так что я целую ночь бредил во сне. Мой отец и сам был ранен; мать перевязала ему плечо; рана была глубока, толстая овчина вся пропиталась кровью. Девочка должна была стать моею сестрою. Она была премиленькая, с нежною, прозрачною кожей, и даже глаза моей матери не были добрее и нежнее глаз Анастасии – так звали девочку. Она должна была стать моею сестрой, потому что отец ее был побратимом моего; они побратались еще в юности, согласно древнему, сохраняющемуся у нас обычаю. Мне много раз рассказывали об этом прекрасном обычае; покровительницей такого братского союза избирается всегда самая прекрасная и добродетельная девушка в округе.

И вот малютка стала моею сестрой; я качал, ее на своих коленях, приносил ей цветы и птичьи перышки; мы пили вместе с ней из Парнасского источника, спали рядышком под лавровой крышей нашей мазанки и много зим подряд слушали песню матери об олене, плакавшем зелеными, синими и красными слезами; но тогда я еще не понимал, что в этих слезах отражались скорби

моего народа.

Раз пришли к нам трое иноземцев, одетых совсем не так, как мы; они привезли с собою на лошадях палатки и постели. Их сопровождало более двадцати турок, вооруженных саблями и ружьями, – иноземцы были друзьями паши и имели от него письмо. Они прибыли только для того, чтобы посмотреть на наши горы, потом взобраться к снегам и облакам на вершину Парнаса и наконец увидеть причудливые черные отвесные сколы вокруг нашей мазанки. Всем им нельзя было уместиться в ней на ночь, да они и не переносили дыма, подымавшегося от костра к потолку и медленно пробиравшегося в низенькую дверь. Они раскинули свои палатки на узкой площадке перед мазанкой, стали жарить баранов и птиц и пили сладкое вино; турки же не смели его пить.

Когда они уезжали, я проводил их недалеко; сестричка Анастасия висела у меня за спиной в мешке из козлиной шкуры. Один из иноземных гостей поставил меня к скале и срисовал меня и сестричку; мы вышли как живые и казались одним существом. Мне – то это и в голову не приходило, а оно и в самом деле выходило так, что мы с Анастасией были как бы одним существом, – вечно лежала она у меня на коленях или висела за спиной, а если я спал, так снилась мне во сне.

Две ночи спустя в нашей хижине появились другие гости. Они были вооружены ножами и ружьями; то бы ли албанцы, храбрый народ, как говорила мать. Недолго они пробыли у нас. Сестрица Анастасия сидела у одного из них на коленях, и когда он ушел, в волосах у нее остались только две серебряных монетки. Албанцы свертывали из бумаги трубочки, наполняли их табаком и курили; самый старший все толковал о том, по какой дороге им лучше отправиться, и ни на что не мог решиться.

– Плюну вверх – угожу себе в лицо, – говорил он – плюну вниз – угожу себе в бороду!

Но как-никак, а надо было выбрать какую-нибудь дорогу!

Они ушли, и мой отец с ними. Немного спустя, мы услышали

выстрелы, потом еще и еще; в мазанку к нам явились солдаты и забрали нас всех; и мать, и Анастасию, и меня. Разбойники нашли в нашем доме пристанище, говорили солдаты, мой отец был с ними заодно, поэтому надо забрать и нас.

Я увидел трупы разбойников, труп моего отца и плакал, пока не уснул. Проснулся я уже в темнице, но тюремное помещение наше было не хуже нашей мазанки, мне дали луку и налили отзывавшего смолой вина, но и оно было не хуже домашнего, тоже хранившегося в осмоленных мешках.

Как долго пробыли мы в темнице – не знаю, помню только, что прошло много дней и ночей. Когда мы вышли оттуда, был праздник святой пасхи; я тащил на спине Анастасию, – мать была больна и еле-еле двигалась. Не скоро дошли мы до моря; это был залив Лепанто. Мы вошли в церковь, всю сиявшую образами, написанными на золотом фоне. Святые лики были ангельски прекрасны, но мне все-таки казалось, что моя малютка сестрица не хуже их. Посреди церкви стояла гробница, наполненная розами; в образе чудесных цветов лежал сам господь наш Иисус Христос – так сказала мне мать. Священник провозгласил: «Христос воскрес!» – и все стали целоваться друг с другом. У всех в руках были зажженные свечи; дали по свечке и нам с малюткой Анастасией.

Потом загудели волынки, люди взялись за руки и, приплясывая, вышли из церкви. Женщины жарили под открытым небом пасхальных агнцев; нас пригласили присесть к огню, и я сел рядом с мальчиком постарше меня, который меня обнял и поцеловал со словами: «Христос воскрес!» Так мы встретились: Афтанидес и я.

Мать умела плести рыболовные сети; тут возле моря, это давало хороший заработок, и мы долго жили на берегу чудного моря, которое отзывало на вкус слезами, а игрою красок напоминало слезы оленя: то оно было красное, то зеленое, то снова синее.

Афтанидес умел грести, и мы с Анастасией часто садились к нему

в лодку, которая скользила по заливу, как облачко по небу. На закате горы окрашивались в темно-голубой цвет; с залива было видно много горных цепей, выглядывавших одна из-за другой; виден был вдали и Парнас с его снегами. Вершина его горела, как раскаленное железо, и казалось, что весь этот блеск и свет исходят изнутри ее самой, так как она продолжала блестеть в голубом сияющем воздухе еще долго после того, как скрывалось солнце. Белые чайки задевали крыльями за поверхность воды; на воде же обыкновенно стояла такая тишь, как в Дельфах между темными скалами. Я лежал в лодке на спине, Анастасия сидела у меня на груди, а звезды над нами блестели ярче церковных лампад. Это были те же звезды, и стояли они над моей головой как раз так же, как тогда, когда я, бывало, сидел под открытым небом возле нашей мазанки в Дельфах. Под конец мне стало грезиться, что я все еще там... Вдруг набежала волна, и лодку качнуло. Я громко вскрикнул – Анастасия упала в воду! Но Афтанидес, быстрый как молния, вытащил ее и передал мне. Мы сняли с нее платье, выжали и потом опять одели ее. То же сделал Афтанидес, и мы оставались на воде до тех пор, пока мокрые платья не высохли. Никто и не узнал, какого страха мы натерпелись, Афтанидес же с этих пор тоже получил некоторые права на жизнь Анастасии.

Настало лето. Солнце так и пекло, листья на деревьях поблекли от жары, и я вспоминал о наших прохладных горах, о свежем источнике. Мать тоже томилась, и вот однажды вечером мы пустились в обратный путь. Что за тишина была вокруг! Мы шли по полям, заросшим тмином, который все еще благоухал, хотя солнце почти со-всем спалило его. Нам не попадалось навстречу ни пастуха, ни мазанки. Безлюдно, мертвенно-тихо было вокруг, только падучие звезды говорили, что там, в высоте, была жизнь. Не знаю, сам ли светился прозрачный голубой воздух или это сияние шло от звезд, но мы хорошо различали все очертания гор. Мать развела огонь, под-жарила лук, которым запаслась в дорогу, и мы с сестрицей Анастасией заснули на тмине, нимало не боясь ни гадкого Сидраки (Сидраки – по поверию греков, чудовище, образующееся из неразрезанных и брошенных в поле

желудков убитых овец. Примечание Андерсена.) из пасти которого пышет огонь, ни волков, ни шакалов: мать была с нами, и для меня этого было довольно.

Наконец мы добрались до нашего старого жилья, но от мазанки оставалась только куча мусору; пришлось делать новую. Несколько женщин помогли матери, и скоро новые стены были подведены под крышу из ветвей олеандров. Мать стала плести из ремешков и коры плетенки для бутылок, а я взялся пасти маленькое стадо священника; (Священником зачастую становится первый грамотный крестьянин, но простолюдины зовут его святейшим отцом и падают при встрече с ним ниц. Примечание Андерсена.) товарищами моими были Анастасия да маленькие черепахи.

Раз навестил нас милый Афтанидес. Он сильно соскучился по нас, сказал он, и пришел повидаться с нами. Целых два дня пробыл он у нас.

Через месяц он пришел опять и рассказал нам, что поступает на корабль и уезжает на острова Патрос и Корфу, оттого и пришел проститься с нами. Матери он принес в подарок большую рыбу. Он знал столько разных историй, так много рассказывал нам, и не только о рыбах, что водятся в заливе Лепанто, но и о героях, и о царях, правивших Грецией в былые времена, как турки теперь.

Я не раз видел, как на розовом кусте появляется бутон и как он через несколько дней или недель распускается в чудный цветок; но бутон обыкновенно становился цветком, прежде чем я успевал подумать о том, как хорош, велик и зрел самый бутон. То же самое вышло и с Анастасией. И вот она стала взрослой девушкой; я давно был сильным парнем. Постели моей матери и Анастасии были покрыты волчьими шкурами, которые я содрал собственными руками с убитых мною зверей. Годы шли.

Раз вечером явился Афтанидес, стройный, крепкий и загорелый. Он расцеловал нас и принялся рассказывать о море, об укреплениях Мальты, о диковинных гробницах Египта. Рассказы

его были так чудесны, точно легенды, что мы слышали от священника. Я смотрел на Афтанидеса с каким-то почтением.

– Как много ты всего знаешь, сколько у тебя рассказов, - сказал я ему.

– Ты однажды рассказал мне кое-что получше! – отвечал он. – И рассказ твой не идет у меня из головы. Ты рассказывал мне как-то о прекрасном старом обычае побратимства! Вот этому-то обычаю я хотел бы последовать! Станем же братьями, как твой отец с отцом Анастасии! Пойдем в церковь, и пусть прекраснейшая и добродетельнейшая из девушек Анастасия скрепит наш союз и будет сестрой нам обоим! Ни у одного народа нет более прекрасного обычая, чем у нас, греков, побратимство!

Анастасия покраснела, как свежий розовый лепесток, а мать поцеловала Афтанидеса.

На расстоянии часа ходьбы от нашего жилья, там, где скалы покрыты черноземом, стоит, в тени небольшой купы деревьев, маленькая церковь; перед алтарем висит серебряная лампада.

Я надел самое лучшее свое платье: вокруг бедер богатыми складками легла белая фустанелла; стан плотно охватила красная куртка; на феске красовалась серебряная кисть, а за поясом – нож и пистолеты. На Афтанидесе был голубой наряд греческих моряков; на груди у него висел серебряный образок божьей матери, стан был опоясан драгоценным шарфом, какие носят знатные господа. Всякий сразу увидал бы, что мы готовились к какому-то торжеству. Мы вошли в маленькую пустую церковь, всю залитую лучами вечернего солнца, игравшими на лампаде и на золотом фоне образов. Мы преклонили колена на ступенях перед алтарем; Анастасия стала повыше, обернувшись к нам лицом. Длинное белое платье легко и свободно облегло ее стройный стан; на белой шее и груди красовались мониста из древних и новых монет. Черные волосы ее были связаны на затылке в узел и придерживались убором из золотых и серебряных монет, найденных при раскопках старых храмов; богатейшего убора не могло быть

ни у одной гречанки. Лицо ее сияло, глаза горели, как звезды.

Все мы сотворили про себя молитву, и Анастасия спросила нас:

– Хотите ли вы быть друзьями на жизнь и на смерть?

– Да! – ответили мы.

– Будет ли каждый из вас помнить всегда и всюду, что бы с ним ни случилось: «Брат мой – часть меня самого, моя святынь – его святыня, мое счастье – его счастье, я должен жертвовать для него всем и стоять за него, как за самого себя».

И мы повторили: «Да!»

Тогда она соединила наши руки, поцеловала каждого из нас в лоб, и все мы опять прошептали молитву. Из алтаря вышел священник и благословил нас, а в самом алтаре раздалось пение других святых отцов. Вечный братский союз был заключен. Когда мы вышли из церкви, я увидел мою мать, плакавшую от умиления.

Как стало весело в нашей мазанке у Дельфийского источника! Вечером накануне того дня, как Афтанидес должен был оставить нас, мы задумчиво сидели с ним на склоне горы. Его рука обвивала мой стан, моя – его шею. Мы говорили о бедствиях Греции и о людях, на которых она могла бы опереться. Наши мысли и сердца были открыты друг другу. И вот я схватил его за руку.

– Одного еще не знаешь ты – того, что было известно до сих пор лишь богу да мне! Моя душа горит любовью! И эта любовь сильнее моей любви к матери, сильнее любви к тебе!..

– Кого же любишь ты? – спросил Афтанидес, краснея.

– Анастасию! – сказал я.

И рука друга задрожала в моей, а лицо его покрылось смертной бледностью. Я заметил это и понял все! Я думаю, что и моя рука задрожала, когда я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и

прошептал:

– Я еще не говорил ей об этом! Может быть, она и не любит меня... Брат, вспомни: я видел ее ежедневно, она выросла на моих глазах и вросла в мою душу!

– И она будет твоей! – сказал он. – Твоей! Я не могу и не хочу украсть ее у тебя! Я тоже люблю ее, но... завтра я уйду отсюда! Увидимся через год, когда вы будете уже мужем и женою, не правда ли?... У меня есть кое-какие деньги – они твои! Ты должен взять, ты возьмешь их!

Тихо поднялись мы на гору; уже свечерело, когда мы остановились у дверей мазанки.

Анастасия посветила нам при входе; матери моей не было дома. Анастасия печально посмотрела на Афтанидеса и сказала:

– Завтра ты покинешь нас! Как это меня огорчает!

– Огорчает тебя! – сказал он, и мне послышалась в его голосе такая же боль, какая жгла и мое сердце. Я не мог вымолвить ни слова, а он взял Анастасию за руку и сказал:

– Брат наш любит тебя, а ты его? В его молчании – его любовь!

И Анастасия затрепетала и залилась слезами. Тогда все мои мысли обратились к ней, я видел и помнил одну ее, рука моя обняла ее стан, и я сказал ей:

– Да, я люблю тебя!

И уста ее прижались к моим устам, а руки обвились вокруг моей шеи... Но тут лампа упала на пол, и в хижине воцарилась такая же темнота, как в сердце бедного Афтанидеса.

На заре он крепко поцеловал нас всех и ушел. Матери моей он оставил для меня все свои деньги. Анастасия сделалась моею невестой, а несколько дней спустя и женой.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ (Голосов: 2. Рейтинг: 1,50 из 5)

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Бронзовый кабан



В городе Флоренции, недалеко от площади дель Грандука, есть небольшой переулок, который зовется, если не ошибаюсь, Порта-Росса. Тут, перед овощным и зеленым рынком, стоит бронзовый кабан искусной работы; изо рта его бежит чистая свежая вода. Само животное совсем уже почернело от времени, одна морда блестит, как полированная: ее отполировали сотни рук бедняков, детей и взрослых, обнимавших ее и подставлявших под струю воды свои пересохшие рты. Посмотреть только, как какой-нибудь хорошенький полунагой мальчуган обнимает красивое животное и приближает свой свеженький ротик к его морде – настоящая картина! Всякий, кто попадет во Флоренцию, без труда найдет это место: стоит только спросить любого нищего, и он сейчас скажет, где находится бронзовый кабан.

Был ранний зимний вечер; горы лежали все в снегу, но на небе сиял месяц, а месяц в Италии светит так, что превращает и ночь в день – не хуже наших темных зимних дней. Да что я – не хуже! Даже лучше, потому что тут светится сам воздух, и небо как

будто поднимается выше, тогда как у нас, на севере, эта холодная свинцовая крыша – небо – просто гнетет нас к сырой земле, которая рано или поздно придавит крышку нашего гроба.

В герцогском саду, под сенью пихт, где и зимой цветут тысячи роз, целый день сидел маленький оборвыш. Мальчуган мог бы послужить живым изображением Италии: он так и сиял красотой и в то же время был так жалок, так несчастен... Ему страшно хотелось есть и пить, но никто не подал ему сегодня ни единой монетки. Между тем стемнело, сад пора было запирать, и сторож выгнал мальчика вон. Долго стоял бедняжка, задумавшись, на мосту, перекинутом через Арно, и смотрел на блестящие в воде звезды.

Потом он направился к бронзовому кабану, нагнулся, обхватил его ручонкой за шею и, приблизив ротик к его блестящей морде, стал жадно глотать свежую воду. Тут же валялись несколько листочков салата и пара каштанов – они пошли ему на ужин. На улице не было ни души, мальчик был один-одинешенек, и он уселся на бронзового кабана, склонился курчавою головкой на голову животного и мигом заснул.

В полночь бронзовый кабан шевельнулся, и мальчик явственно услышал: «Держись крепче, малыш, теперь я побегу!» И кабан в самом деле пустился с мальчиком во всю прыть. Вот так езда была!

Прежде всего они направились на площадь дель Грандука; бронзовая лошадь на герцогском монументе громко заржала; пестрые гербы на старой ратуше засветились, точно транспаранты, а Микеланджелов Давид взмахнул пращою; повсюду пробуждалась какая-то странная жизнь. Бронзовые группы «Персей» и «Похищение сабинянок» стояли, точно живые; крик смертельного ужаса раздавался по великолепной безлюдной площади.

Возле Палаццо Уффици, под аркой, где собирается во время карнавала вся флорентийская знать, бронзовый кабан

остановился.

– Держись крепче! – сказал он мальчику. – Теперь марш вверх по лестнице!

Мальчуган за все это время не проронил ни словечка, трепеща от страха и от радости. Вот они вступили в длинную галерею; мальчик хорошо знал ее: он бывал здесь и прежде. Стены пестрели картинами, повсюду стояли бюсты и статуи, озаренные чудным светом; казалось, здесь царил светлый день. Но еще лучше стало, когда растворилась дверь в боковые залы! Вся эта роскошь была хорошо памятна мальчику, но на этот раз все являлось ему в каком-то особенном, чудном освещении.

Вот перед ним прелестная нагая женщина – такое совершенство природы могло быть воспроизведено в мраморе только искусством несравненного художника. Ее дивные формы дышали жизнью, у ног ее резвились дельфины, бессмертие сверкало в ее взоре. Люди зовут ее Венерой Медицейской. По обеим сторонам богини разместились мраморные статуи чудных юношей: один точил меч – его зовут «Точильщиком»; на другом же пьедестале боролись гладиаторы. И меч точился, и борцы сражались ради богини красоты.

Весь этот блеск почти ослеплял мальчугана; стены сияли разноцветными красками; все было – сама жизнь, само движение. Тут было еще одно изображение Венеры, земной Венеры, полной жизни и огня, какую грезилась она Тициану. Да, это были два чудных женских образа! Прекрасное, ничем не прикрытое тело Тициановой Венеры покоилось на мягком ложе; грудь ее тихо вздымалась, голова слегка шевелилась, пышные волосы падали на круглые плечи, а темные глаза горели страстью. Ни одна из картин не смела, однако, совсем выступить из рамы. Сама богиня красоты, гладиаторы и точильщик тоже оставались на своих местах: их сковывало сияние, лившееся от изображения Мадонны, Иисуса и Иоанна. Святые перестали быть картинами, это были уже сами святые!

Что за красота, что за блеск царили в этих залах! Бронзовый кабан обошел их шаг за шагом, и мальчик увидел все. Одно зрелище вытеснялось из памяти другим, но одна картина оставила в его душе неизгладимый след, главным образом благодаря изображенным на ней радостным, счастливым детям; мальчик уже раз видел их днем.

Многие прошли бы, пожалуй, мимо этой картины, а между тем это истинное сокровище поэзии. На ней изображен Христос, сходящий в преисподнюю, но вокруг него толпятся не измученные грешники, а язычники. Рисовал картину флорентиец Анджело Бронзино. Лучше всего в ней – выражение на лицах детей твердой уверенности в том, что они взойдут на небо. Двое малюток уже обнимаются друг с другом; один, стоящий повыше, протягивает руки стоящему пониже, указывая при этом пальцем на самого себя, как бы говоря: «Я иду на небо!» На лицах же взрослых написаны робкая, неуверенная надежда и смиренная мольба.

На эту картину мальчик смотрел дольше всего; бронзовый кабан стоял смирно, и вдруг послышался тихий вздох. Откуда он вырвался? Из картины или из груди животного? Мальчик протянул руку к улыбающимся детям, но кабан помчался обратно в аванзалу.

– Спасибо тебе, милый, славный кабанчик! – сказал мальчуган и погладил животное, которое – тук, тук! – сбегало вниз по лестнице.

– Спасибо и тебе! – сказал кабан. – Я помог тебе, а ты помог мне: я могу двигаться, лишь когда на мне сидит невинный ребенок. Тогда я могу даже проходить под лучами лампы, горящей перед образом Мадонны. Всюду могу я входить с тобой, только не в церковь! Но смотреть туда в открытые двери мне не воспрещено! Не слезай же с меня! Если ты слезешь, я стану таким же мертвым, неподвижным, каким ты видел меня днем в переулке Порта-Росса.

– Я не покину тебя, милый кабан! – сказал мальчик, и они

вихрем помчались по улицам на площадь, к церкви Санта-Кроче.

Огромные входные двери раскрылись; на алтаре горели свечи, так что в церкви и даже на безлюдной площади было светло.

С надгробного памятника, помещавшегося в левом приделе церкви, струился какой-то удивительный свет, словно вокруг образовалось сияние из сотни тысяч движущихся звезд. На памятнике красовался герб: красная, словно пылающая в огне, лестница на голубом поле. То была гробница Галилея; она очень проста, герб же полон глубокого значения. Он мог бы послужить гербом самого искусства или науки: представителей их ведь тоже ведет к бессмертию пылающая лестница; все пророки искусства и науки, отмеченные дарами Духа, восходят на небо, как пророк Илия.

Изображения, помещавшиеся на мраморных саркофагах в правом приделе церкви, казалось, все ожили. Тут стоял Микеланджело, там – Данте с лавровым венком на челе, здесь – Альфьери, Макиавелли – повсюду великие мужи, гордость Италии (Неподалеку от гробницы Галилея находится гробница Микеланджело; на ней – его бюст и три аллегорических изображения: Скульптура, Живопись и Архитектура. Рядом – гробница Данте (тело его покоится в Равенне); на ней видна фигура Италии, указывающая на колоссальную статую Данте; тут же поэзия оплакивает понесенную ею утрату. В двух шагах – надгробный памятник Альфьери, украшенный лаврами, лирой и масками; над гробом плачет Италия. Гробница Макиавелли заканчивает этот ряд памятников великих людей Италии. – Примеч. автора.). Церковь Санта-Кроче великолепна, куда красивее, хоть и не так велика, как мраморный Флорентийский собор.

Складки мраморных одеяний шевелились, а сами изображения великих людей поднимали головы и устремляли взоры на блестящий алтарь, откуда слышалось пение и где кадили золотыми кадилами мальчики в белоснежных одеждах; сильное благоухание струилось из церкви на площадь.

Мальчик протянул руку к светлому сиянию, но в тот же миг бронзовый кабан помчался дальше, и ему пришлось крепко прижаться к шее животного. Ветер так и свистел у него в ушах, двери собора с визгом затворились; тут сознание оставило мальчика, смертельный холод охватил его члены, и – он открыл глаза.

Было уже утро; он полусидел, полулежал, почти совсем соскользнув со спины кабана, который стоял, как и всегда, на своем обычном месте.

Ужас охватил мальчика при одной мысли о той, кого он звал матерью. Она послала его вчера собирать милостыню, но никто не подал ему ничего; голод мучил бедняжку. Еще раз обнял он кабана, поцеловал его в морду, кивнул ему головой и направился в одну из самых узких улиц, где едва-едва мог пройти навьюченный осел. Затем мальчик вошел в полуотворенную, окованную железом дверь и стал подниматься по грязной кирпичной лестнице с веревкой вместо перил. Лестница вела на открытую галерею, всю увешанную лохмотьями; с галереи во двор спускалась другая лестница; посреди двора находился колодец, от которого во все этажи были проведены толстые железные проволоки, а по ним то и дело двигались ведра с водой; ворот скрипел, а вода из ведер плескала на мостовую двора. По узенькой полуразвалившейся кирпичной лесенке мальчик поднялся еще выше; навстречу ему весело сбегали по ступеням двое русских матросов и чуть не сбили мальчугана с ног. Они возвращались с веселой ночной пирушки; за ними шла немолодая, но крепко сложенная женщина с густыми черными волосами.

– Много принес? – спросила она мальчика.

– Не сердись! – взмолился он. – Никто не дал мне ничего!

И он схватился за край Платья матери, как бы желая поцеловать его. Они вошли в комнату; описывать ее мы не станем; довольно будет сказать, что тут стоял глиняный горшок с горячими угольями – грелка, или *marito*, как его зовут в Италии.

Женщина взяла его и стала греть свои руки.

– Что-нибудь ты принес все-таки? – спросила она, толкнув мальчика локтем.

Ребенок заплакал; она дала ему пинка ногою; он громко завопил.

– Замолчи, не то я разобью твою горластую башку! – сказала она и замахнулась на него грелкой.

Мальчик с криком припал к земле. Дверь отворилась, и вошла соседка, тоже с грелкой в руках.

– Феличита! Что ты делаешь с ребенком?

– Ребенок мой! – отвечала Филичита. – Я могу убить его, если захочу, да и тебя вместе, Жианина!

И она замахнулась грелкой. Соседка подняла на защиту свою, и горшки столкнулись – черепки, уголья и зола разлетелись по всей комнате, а мальчик – за дверь, на двор да на улицу! Бедный ребенок бежал, пока у него не захватило дух, и он поневоле остановился у церкви Санта-Кроче, у той самой, в которой побывал сегодня ночью. Церковь вся сияла в огнях; он вошел, опустился на колени возле первой гробницы направо – это была гробница Микеланджело – и громко зарыдал. Народ приходил и уходил, обедня кончилась, никому не было дела до мальчика; приостановился было и посмотрел на него только какой-то пожилой горожанин, но потом и тот пошел своею дорогой, как другие.

Ребенок совсем обессилел от голода и жажды, заполз в угол между стеной и мраморной гробницей и заснул. Проснулся он только под вечер – кто-то растолкал его; он встал и увидал перед собою того же самого старика.

– Тебе нездоровится? Где ты живешь? Ты целый день здесь? – засыпал он мальчика вопросами.

Мальчик ответил, и старик повел его в маленький домик на одной

из боковых улиц неподалеку от церкви. Они вошли в перчаточную мастерскую: пожилая женщина прилежно шила, а по столу перед ней прыгала маленькая беленькая болонка, остриженная так коротко, что сквозь шерстку просвечивало розовое тельце. Болонка кинулась к мальчику.

– Невинные души живо признают друг друга! – сказала женщина и погладила собачку и ребенка.

Добрые люди, накормив и напоив мальчика, позволили ему переночевать у них, а на другой день дядюшка Джузеппе хотел поговорить с матерью мальчугана.

Ребенка уложили на маленькую бедную постель, но она показалась ему княжеской: он привык проводить ночи на жестких камнях мостовой. Спокойно заснул он и видел во сне роскошные картины и бронзового кабана.

Утром дядюшка Джузеппе ушел, а бедный мальчуган пригорюнился: дело кончится тем, что его отведут к матери! И он плакал, целуя беленькую резвую собачку, а добрая женщина ласково кивала им головой.

Ну, с чем-то вернулся дядюшка Джузеппе? Он долго беседовал с женой; та одобрительно покачивала головой и гладила мальчика по головке, говоря:

– Такой милый мальчик! Из него выйдет славный перчаточник, не хуже тебя! У него такие тонкие, гибкие пальцы! Он самую Мадонной назначен в перчаточники!

И мальчик остался у них. Жена перчаточника учила его шить; кормили его хорошо, спал он отлично и сделался веселым, резвым мальчиком, который не прочь был иногда пошалить и подразнить Беллиссиму – так звали собачку; но хозяйка грозила ему пальцем, бранилась и сердилась, что очень огорчало мальчика. Раз как-то он сидел, задумавшись, в своей каморке, в которой сушились и кожи; окна, выходившие на улицу, были огорожены толстыми решетками; мальчик не мог спать: бронзовый кабан не

выходил у него из головы, и вдруг он услышал на улице: тук! тук! Это, наверное, кабан! Мальчик бросился к окну, но улица была уже пуста.

– Помоги-ка синьору, возьми ящик с красками! – сказала раз утром хозяйка при виде молодого соседа-художника, тащившего ящик и накатанный на палку холст.

Мальчик взял ящик и пошел за художником. Они отправились в картинную галерею и поднялись по той самой лестнице, которую мальчик так хорошо помнил с той ночи, когда ездил на кабане; он узнал все статуи и картины, чудную мраморную Венеру, Мадонну, Иисуса и Иоанна.

Вот они остановились перед картиной Бронзино, на которой изображен Христос, нисходящий в преисподнюю и окруженный улыбающимися и крепко верящими в свое спасение детьми; бедный мальчик тоже весь просиял улыбкой – он сам чувствовал себя на небе.

– Ну, ступай себе! – сказал ему художник, успевший уже установить свой мольберт.

– Нельзя ли мне посмотреть, как вы перенесете картину сюда, на этот белый холст? – сказал мальчик.

– Теперь я еще не буду писать красками! – отвечал художник и взял угольный карандаш.

Быстро задвигалась его рука, глаза впились в большую картину и, несмотря на то что он делал лишь одни тонкие штрихи, на холсте у него появился тот же воздушный образ Христа, что и на картине, писанной масляными красками.

– Ну, ступай же! – сказал опять художник, и мальчик тихонько побрел домой, сел за стол и стал учиться... шить перчатки.

Но мысли его неслись к картинной галерее, он колол себе иголкой пальцы, работа не спорилась, зато и Беллиссиму он больше не дразнил. Вечером мальчик скользнул в отворенную

дверь на улицу; было холодно, но на небе сияли чудные ясные звездочки. Он побежал по безмолвным улицам прямо к бронзовому кабану, наклонился к нему, поцеловал его в блестящую морду, потом уселся ему на спину и сказал:

– Как я соскучился по тебе, милый кабан! Надо нам опять прокатиться сегодня ночью!

Бронзовый кабан не шевельнулся, изо рта его по-прежнему бежала струя чистой, свежей воды. Мальчик сидел на нем, точно всадник на коне, как вдруг кто-то потянул его за край платья. Он взглянул и увидел Беллссиму, маленькую, голенькую Беллссиму! Собачка тоже незаметно шмыгнула в дверь и увязалась за мальчиком. Беллссима тяфкала, словно хотела сказать мальчику: «И я тут! А ты куда это забрался?» Явись перед мальчиком огненный дракон, бедняжка не испугался бы его больше Беллссимы. Беллссима на улице и «не одета!», как сказала бы хозяйка. Что же теперь будет?! Зимой собачку никогда не выпускали из дома без теплой, нарочно для нее сшитой, овчинной попонки. Овчинка была украшена бубенчиками и бантиками, привязывалась же к шейке и под брюшком красными ленточками. Сопровождая в таком наряде свою госпожу на прогулку, собачка была похожа на маленького семенившего ножками барашка. «Беллссима тут, и не одетая! Что теперь будет?» Все мечты разлетелись, мальчик поцеловал бронзового кабана, подхватил Беллссиму – бедняжка дрожала от холода – и побежал домой что было мочи.

– Что это у тебя? Куда бежишь? – закричали два попавшихся ему по дороге жандарма; Беллссима залаяла.

– Где ты стащил такую хорошенькую собачку? – спросили они и отняли ее у мальчика.

– Ах, отдайте мне собачку! – умолял мальчуган.

– Если ты не украл ее, скажи дома, чтобы кто-нибудь пришел за ней на гауптвахту.

И они ушли с Беллиссимой.

Вот так горе! Что было ему делать: броситься в Арно или идти домой с повинной? Хозяева, конечно, изобьют его до смерти! «Ну и пусть, я сам хочу умереть; я пойду тогда к Иисусу и Мадонне!» И он пошел домой, главным образом, для того, чтобы умереть.

Дверь была заперта; он не мог достать до дверного молотка; на улице не было ни души, но на мостовой валялся булыжник, и мальчик принялся колотить им в дверь.

– Кто там? – послышался оклик.

– Я! – сказал он. – Беллиссимы нет! Отворите мне и бейте меня до смерти.

Поднялась суматоха; особенно испугалась за бедную собачку хозяйка; она сейчас же взглянула на стену, где висела собачкина попонка: овчинка была на месте.

– Беллиссима на гауптвахте! – завопила она. – Ах ты, негодный мальчишка! Как это ты выманил ее? Она замерзнет! Такое нежное созданище в руках грубых солдат!

И дядюшке Джузеппе пришлось отправиться за собачкой. Хозяйка охала, а мальчик плакал; сбежались все соседи, пришел и художник. Он притянул к себе мальчугана, стал расспрашивать, как было дело, и кое-как, клочками и отрывками, узнал всю историю о бронзовом кабане и о картинной галерее. Не сразу можно было понять мальчугана.

Художник утешал мальчика и заступался за него перед старухой, но она успокоилась только тогда, когда дядюшка Джузеппе вернулся с Беллиссимой, побывавшей у солдат. То-то была радость! Художник приласкал бедного мальчугана и дал ему целую стопку картинок.

Картинки были чудесные, пресмешные! Особенно хорош был бронзовый кабан – ну совсем как живой! Лучше его и быть ничего

не могло! Художник сделал несколько штрихов карандашом, и на бумаге появился бронзовый кабан, да не только он, но и дом, находившийся позади него!

«Вот бы уметь так рисовать и писать красками! Весь мир стал бы моим! Все можно было бы перенести на бумагу!»

На другой день, улучив минуту, когда остался один, мальчик схватил карандаш и попробовал срисовать кабана на оборотной стороне одной из картинок. Удалось! Немножко криво, немножко косо, одна нога толще другой, но все-таки можно было догадаться, что это бронзовый кабан.

Мальчик ликовал! Правда, карандаш еще плохо слушался его – он отлично замечал это. Но на следующий день рядом с первым бронзовым кабаном стоял другой; этот был уже во сто раз лучше, третий же так хорош, что всякий сразу узнал бы, с кого он был срисован.

Зато плохо шло шитье перчаток, плохо и медленно исполнялись разные маленькие поручения хозяев. Благодаря бронзовому кабану мальчик узнал, что на бумагу можно перенести любую картину, а город Флоренция – настоящий альбом, знай себе перелистывай! На площади делла Тринита стоит стройная колонна; на самой вершине ее – богиня правосудия с завязанными глазами и весами в руках; скоро и она попала на бумагу, перенес же ее туда ученик перчаточника. Коллекция рисунков у него все росла, но все это были пока изображения предметов неодушевленных. Раз запрыгала перед ним Беллиссима, и он сказал ей:

– Стой смирно! Увидишь, какую ты выйдешь хорошенькою на картинке!

Беллиссима, однако, не хотела стоять смирно и пришлось ее привязать. Но и привязанная за хвост и за голову, она все-таки продолжала прыгать и лаять; понадобилось хорошенько затянуть шнурок. Вдруг вошла синьора.

– Безбожный мальчишка! Бедная собачка! – вот все, что она

могла вымолвить.

Потом она оттолкнула мальчика, дала ему пинка ногой и выгнала неблагодарного безбожника из дома, покрывая поцелуями и слезами бедную, полузадохшуюся Беллиссиму.

В это время по лестнице поднимался художник, и – тут поворотный пункт нашей истории.

В 1834 году во Флорентийской академии художеств была выставка. Две картины, стоявшие рядом, привлекали толпы зрителей. На картине поменьше был изображен веселый мальчуган, который срисовывал маленькую беленькую коротко остриженную собачку.

Модель, видно, не хотела стоять смиренно и потому была прикручена к столу за хвост и за голову шнурком. Жизнь так и была в этой картине ключом, и все были от нее в восторге. Картина принадлежала, как говорили, кисти молодого флорентийца, найденного где-то на улице еще ребенком, воспитанного стариком-перчаточником и самоучкою выучившегося рисовать. Один знаменитый теперь художник случайно открыл его талант, когда мальчугана выгоняли из дома за то, что он, желая срисовать хозяйкину любимицу собачку, связал и чуть-чуть не задушил ее.

Из ученика-перчаточника вышел великий художник – об этом свидетельствовала и упомянутая картина, в особенности же та, большая, что находилась рядом. На ней была всего одна фигура: прелестный оборванный мальчуган крепко спал, сидя на бронзовом кабане из переулка Порта-Росса (Бронзовый кабан – копия; оригинал же – мраморный и стоит в галерее Палаццо degli Uffizi. – Примеч. автора.).

Всем зрителям было хорошо знакомо это место. Руки мальчика покоились на голове кабана. Милое бледное детское личико было ярко освещено лучами от лампы, висевшей перед образом Мадонны. Картина была чудная! На угол великолепной золотой рамы был повешен лавровый венок, но между зелеными листьями вилась черная лента и черный флер.

Молодой художник незадолго перед тем умер.

(Голосов: 2. Рейтинг: 1,50 из 5)

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Гречиха



Часто, когда после грозы идешь полем, видишь, что гречиху опалило дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: «Это ее опалило молнией!» Но почему?

А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля – дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, все корявое, с трещиной посредине. Из трещины растут трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли.

Поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом – чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в смирении свои головы к земле.

Тут же, возле старой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.

– Я не беднее хлебных колосьев! – говорила она. – Да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого посмотреть! Знаешь ли ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня?

Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Конечно, знаю!» А гречиха надменно говорила:

– Глупое дерево, у него от старости из желудка трава растет!

Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепестки и склонили свои головки; одна гречиха красовалась по-прежнему.

– Склони голову! – говорили ей цветы.

– Незачем! – отвечала гречиха.

– Склони голову, как мы! – закричали ей колосья. – Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесет тебе голову, прежде чем ты успеешь взмолиться о пощаде!

– Ну, а я все-таки не склоню головы! – сказала гречиха.

– Сверни лепестки и склони голову! – сказала ей и старая ива. – Не гляди на молнию, когда она раздирает облака! Сам человек не дерзает этого: в это время можно заглянуть в самое небо господне, а за такой грех господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Ведь мы, бедные полевые злаки, куда ниже, ничтожнее человека!

– Ниже? – сказала гречиха. – Так вот же я возьму и загляну в небо господне!

И она в самом деле решилась на это в своем горделивом упорстве. Тут такая сверкнула молния, как будто весь мир

загорелся, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освеженные и омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией, она погибла и никуда больше не годилась.

Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру; с зеленых листьев падали крупные дождевые капли; дерево будто плакало, и воробьи спросили его:

– О чем ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несется от цветов и кустов! О чем же ты плачешь, старая ива?

Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и о казни гречихи; гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю и я: они прощобетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.

(Голосов: 2. Рейтинг: 1,50 из 5)

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Свинопас



Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но какое-никакое, а все же королевство – хоть женись, и вот жениться-то он как раз и хотел.

Оно, конечно, дерзко было взять да спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Но он осмелился. Имя у него было известное на весь свет, и сотни принцесс сказали бы ему спасибо, но вот что ответит императорская дочь?

А вот послушаем.

На могиле отца принца рос розовый куст, да какой красивый! Цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем одна-единственная роза. Зато сладок был ее аромат, понюхаешь – и сразу забудутся все твои горести и заботы. А еще был у принца соловей, и пел он так, будто в горлышке у него были собраны все самые чудесные напевы на свете. Вот и решил принц подарить принцессе розу и соловья. Положили их в большие серебряные ларцы и отослали ей.

Повелел император принести ларцы к себе в большой зал – принцесса играла там в гости со своими фрейлинами, ведь других-то дел у нее не было. Увидела принцесса ларцы с подарками, захлопала в ладоши от радости.

– Ах, если б тут была маленькая киска! – сказала она.

Но появилась чудесная роза.

– Ах, как мило сделано! – в голос сказали фрейлины.

– Мало сказать мило, – отозвался император, – прямотаки недурно!

Только принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

– Фи, папа! Она не искусственная, она настоящая.

– Фи! – в голос повторили придворные. – Настоящая!

– Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! –

сказал император.

И вот выпорхнул из ларца соловей и запел так дивно, что поначалу не к чему и придаться было.

– Бесподобно! Великолепно! – сказали фрейлины; все они болтали по-французски одна хуже другой.

– Эта птица так напоминает мне органчик покойной императрицы! – сказал один старый придворный. – Да, да, и звук тот же, и манера!

– Да! – сказал император и заплакал, как ребенок.

– Надеюсь, птица не настоящая? – спросила принцесса.

– Настоящая! – ответили посланцы, доставившие подарки.

– Ну так пусть летит, – сказала принцесса и наотрез отказалась принять принца.

Только принц не унывал; вымазал лицо черной и бурой краской, нахлобучил на глаза шапку и постучался в дверь.

– Здравствуйте, император! – сказал он. – Не найдется ли у вас во дворце местечка для меня?

– Много вас тут ходит да ищет! – отвечал император. – Впрочем, постой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!

Так и определили принца свинопасом его величества и убогую каморку рядом со свинарником отвели, и там он должен был жить. Ну вот, просидел он целый день за работой и к вечеру сделал чудесный маленький горшочек. Весь увешан бубенцами горшочек, и когда в нем что-нибудь варится, бубенцы вызванивают старинную песенку: Ах, мой милый Августин, Все прошло, прошло, прошло!

Но только самое занятное в горшочке то, что если подержать над ним в пару палец – сейчас можно узнать, что у кого готовится в городе. Слов нет, это было почище, чем роза.

Вот раз прогуливается принцесса со всеми фрейлинами и вдруг слышит мелодию, что вызванивали бубенцы. Стала она на месте, а сама так вся и сияет, потому что она тоже умела наигрывать «Ах, мой милый Августин», – только эту мелодию и только одним пальцем.

– Ах, ведь и я это могу! – сказала она. – Свинопас-то у нас, должно быть, образованный. Послушайте, пусть ктонибудь пойдет и спросит, что стоит этот инструмент.

И вот одной из фрейлин пришлось пройти к свинопасу, только она надела для этого деревянные башмаки.

– Что возьмешь за горшочек? – спросила она.

– Десять поцелуев принцессы! – отвечал свинопас.

– Господи помилуй!

– Да уж никак не меньше! – отвечал свинопас.

– Ну, что он сказал? – спросила принцесса.

– Это и выговорить-то невозможно! – отвечала фрейлина. – Это ужасно!

– Так шепни на ухо!

И фрейлина шепнула принцессе.

– Какой невежа! – сказала принцесса и пошла дальше, да не успела сделать и нескольких шагов, как бубенцы опять зазвенели так славно: Ах, мой милый Августин, Все прошло, прошло, прошло!

– Послушай, – сказала принцесса, – поди спроси, может, он согласится на десять поцелуев моих фрейлин?

– Нет, спасибо! – отвечал свинопас. – Десять поцелуев принцессы или горшочек останется у меня.

– Какая скука! – сказала принцесса. – Ну, станьте вокруг меня, чтобы никто не видел!

Загородили фрейлины принцессу, растопырили юбки, и свинопас получил десять поцелуев принцессы, а принцессагоршочек.

Вот радости-то было! Весь вечер и весь следующий день стоял на огне горшочек, и в городе не осталось ни одной кухни, будь то дом камергера или сапожника, о которой бы принцесса не знала, что там стряпают. Фрейлины плясали от радости и хлопали в ладоши.

– Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

– В высшей степени интересно! – подтвердила обергофмейстерша.

– Но только держите язык за зубами, ведь я дочь императора!

– Помилуйте! – сказали все.

А свинопас – то есть принц, но для них-то он был по-прежнему свинопас

– даром времени не терял и смастерил трещотку. Стоит повертеть ею в воздухе – и вот уж она сыплет всеми вальсами и польками, какие только есть на свете.

– Но это же бесподобно! – сказала принцесса, проходя мимо. – Просто не слыхала ничего лучше! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Только целоваться я больше не стану!

– Он требует сто поцелуев принцессы! – доложила фрейлина, выйдя от свинопаса.

– Да он, верно, сумасшедший! – сказала принцесса и пошла дальше, но, сделав два шага, остановилась. – Искусство надо поощрять! – сказала она.

– Я дочь императора. Скажите ему, я согласна на десять поцелуев, как вчера, а остальные пусть получит с моих фрейлин!

– Ах, нам так не хочется! – сказали фрейлины.

– Какой вздор! – сказала принцесса. – Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

Пришлось фрейлине еще раз сходить к свинопасу.

– Сто поцелуев принцессы! – сказал он. – А нет – каждый останется при своем.

– Становитесь вокруг! – сказала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас принялся целовать.

– Это что еще за сборище у свинарника? – спросил император, выйдя на балкон. Он протер глаза и надел очки. – Не иначе как фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задники своих туфель – туфлями-то ему служили стоптанные башмаки. И-эх, как быстро он зашагал!

Спустился император во двор, подкрадывается потихоньку к фрейлинам, а те только тем и заняты, что поцелуи считают: ведь надо же, чтобы дело сладилось честь по чести и свинопас получил ровно столько, сколько положено, – ни больше, ни меньше. Вот почему никто и не заметил императора, а он привстал на цыпочки и глянул.

– Это еще что такое? – сказал он, разобрав, что принцесса целует свинопаса, да как хватит их туфлей по голове!

Случилось это в ту минуту, когда свинопас получал свой восемьдесят шестой поцелуй.

– Вон! – в гневе сказал император и вытолкал принцессу со свинопасом из пределов своего государства.

Стоит и плачет принцесса, свинопас ругается, а дождь так и поливает.

– Ах я горемычная! – причитает принцесса. – Что бы мне выйти

за прекрасного принца! Ах я несчастная!..

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду – и вот перед ней уже принц в царственном облачении, да такой пригожий, что принцесса невольно сделала реверанс.

– Теперь я презираю тебя! – сказал он. – Ты не захотела выйти за честного принца. Ты ничего не поняла ни в соловье, ни в розе, зато могла целовать за безделки свинопаса. Поделом тебе!

Он ушел к себе в королевство и закрыл дверь на засов. А принцессе только и оставалось стоять да петь: Ах, мой милый Августин, Все прошло, прошло, прошло!

(Голосов: 2. Рейтинг: 1,50 из 5)

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Оле-Лукойе



Никто на свете не знает столько историй, сколько Оле-Лукойе. Вот мастер рассказывать-то!

Вечером, когда дети смирно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он подымается тихонько по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка приснет детям в глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слипаться, и они уже не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Подует – и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно – у Оле-Лукойе нет ведь злого умысла; он хочет только, чтобы дети уgomонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать истории.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета, – он отликает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками – его он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся волшебные сказки, другой совсем простой, гладкий, – его он раскрывает над нехорошими детьми: ну, они и спят всю ночь как убитые, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне!

Послушаем же о том, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного мальчика, Яльмара, и рассказывал ему истории! Это будет целых семь историй: в неделе ведь семь дней.

Понедельник

-Ну вот, – сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель, – теперь украсим комнату!

И в один миг все комнатные цветы превратились в большие деревья, которые тянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку, а вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и

запаху был лучше розы, а вкусом (если бы только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое!

Вдруг в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара, поднялись ужасные стоны.

– Что там такое? – сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.

Оказывается, это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка: он очень хотел помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара, слушать ее было просто ужасно! На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие, и так целым столбцом одна под другой – это была пропись; сбоку же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были стоять.

– Вот как надо держаться! – говорила пропись. – Вот так, с легким наклоном вправо!

– Ах, мы бы и рады, – отвечали буквы Яльмара, – да не можем! Мы такие плохонькие!

– Так вас надо немного подтянуть! – сказал Оле-Лукойе.

– Ой, нет! – закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.

– Ну, теперь нам не до историй! – сказал Оле-Лукойе. – Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел все буквы Яльмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как твоя пропись. Но утром, когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.

Вторник

Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебной брызгалкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать, и болтали они о себе все, кроме плевательницы; эта молчала и сердилась про себя на их тщеславие: говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо дворцов за лес, в далекое море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебной брызгалкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по земле их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена в красное с белым, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей с золотыми коронами на шеях и сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы – о прелестных маленьких эльфах и о том, что они слышали от бабочек.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные и голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели:

«Жуу! Жуу!»; всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове история.

Да, вот это было плавание!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на прекрасные сады, озаренные солнцем и усеянные цветами. По

берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и всё это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка – такого редко купишь у торговки. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю: Яльмар – побольше, принцесса – поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками, – вот что значит настоящие-то принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через город, где жила его старая няня, которая носила его на руках, когда он был еще малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее: она кланялась, посыпала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и – прислала Яльмару:

– Мой Яльмар, тебя вспоминаю

Почти каждый день, каждый час!

Сказать не могу, как желаю

Тебя увидеть вновь хоть раз!

Тебя ведь я в люльке качала,

Учила ходить, говорить

И в щечки и в лоб целовала.

Так как мне тебя не любить!

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал историю.

Среда

Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

– Хочешь прогуляться, Яльмар? – спросил Оле. – Побываешь ночью в чужих землях, а к утру – опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась; они проплыли по улицам, мимо церкви, и оказались среди сплошного огромного озера. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длиною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распушенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими раз, другой, но напрасно... Скоро он задел за мачту корабля. скользнул по снастям и – бах! – упал прямо на палубу.

Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

– Ишь какой! – сказали куры.

А индейский петух надулся и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и крякали: «Дур-рак! Дур-рак!»

Аист рассказал им про жаркую Африку, про пирамиды и страусов, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

– Ну не дурак ли?

– Конечно, дурак! – сказал индейский петух и сердито забормотал.

Аист замолчал и стал думать о своей Африке.

– Какие у вас чудесные тонкие ноги! – сказал индейский петух.

– Почем аршин?

– Кряк! Кряк! Кряк! – закричали смешливые утки, но аист как будто и не слышал.

– Могли бы и вы посмеяться с нами! – сказал аисту индейский петух. – Очень забавно было сказано! Да куда там, для него это слишком низменно! И вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью. Что ж, будем забавлять себя сами!

И куры кудахтали, утки кричали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу – он уже успел отдохнуть. Аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Куры закудахтали, утки закричали, а индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.

– Завтра из вас сварят суп! – сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кровати.

Славное путешествие проделали они ночью с Оле-Лукойе!

Четверг

-Знаешь что? – сказал Оле-Лукойе. – Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! – И правда, в руке у него была хорошенькая мышка. – Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!

– А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? – спросил Яльмар.

– Уж положишься на меня! – сказал Оле-Лукойе. Он дотронулся до мальчика своею волшебной брызгалкой, и Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною с палец.

– Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдатика. По-моему, такой наряд тебе вполне подойдет: мундир ведь так красит, а ты идешь в гости!

– Хорошо! – согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика.

– Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? – сказала Яльмару мышка. – Я буду иметь честь отвезти вас.

– Ах, какое беспокойство для фрекен! – сказал Яльмар, и они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дыру, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.

– Правда ведь, чудный запах? – спросила мышка-возница. – Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до зала, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы, налево, покручивая лапками усы, – мышки-кавалеры, а посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зал, как и коридор, был весь смазан салом, другого угощения и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши объявили, что свадьба была великолепна и что они очень приятно провели время.

Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе,

хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика.

Пятница

-Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе! – сказал Оле-Лукойе. – Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле, – говорят они мне, – мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! – добавляют они с глубоким вздохом. – Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньги!

– А что мы будем делать сегодня ночью? – спросил Яльмар.

– Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; а еще сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!

– Знаю, знаю! – сказал Яльмар. – Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж: было сто раз!

– Да, а сегодня ночью будет сто первый, и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона: окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола: да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их.

Затем молодые получили подарки, но от угощения отказались: они

были сыты своей любовью.

– Что ж, поедем теперь на дачу или отправимся за границу? – спросил молодой.

На совет пригласили опытную путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые кисти винограда, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь и понятия не имеют.

– Зато там нет нашей кудрявой капусты! – сказала курица. – Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копать сколько угодно! А еще нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

– Да ведь кочаны похожи как две капли воды! – сказала ласточка. – К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

– Ну, к этому можно привыкнуть! – сказала курица.

– А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!

– То-то и хорошо для капусты! – сказала курица. – Да, в конце-то концов, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарница-то была! Все задохались! Кстати сказать, у нас нет ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самой лучшей в мире! Такой недостойн и жить в ней! – Тут курица заплакала. – Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

– Да, курица – особа вполне достойная! – сказала кукла Берта. – Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам – то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

Суббота

-А сегодня будешь рассказывать? – спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.

– Сегодня некогда! – ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. – Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.

– Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! – продолжал Оле. – Завтра ведь праздник, воскресенье! Мне надо пойти на колокольню – посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола, не то они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле – посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звезды. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звезду и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом каждую поставить на свое место, иначе они не будут держаться и посыплутся с неба одна за другой!

– Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! – сказал вдруг висевший на стене старый портрет. – Я прадедущка Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды – такие же небесные тела, как наша Земля, тем-то они и хороши!

– Спасибо тебе, прадедущка! – отвечал Оле-Лукойе. – Спасибо! Ты – глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; римляне и греки звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

– Ну, уж нельзя и высказать своего мнения! – сказал старый портрет. Тут Яльмар проснулся.

Воскресенье

-Добрый вечер! – сказал Оле-Лукойе. Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

– А теперь ты расскажи мне историю про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иголкой.

– Ну нет, хорошенького понемножку! – сказал Оле-Лукойе. – Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе. Но он знает только две сказки: одна бесподобно хороша, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать как!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

– Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Кафтан на нем весь расшит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развевается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала каждого спрашивал:

– Какие у тебя отметки за поведение?

– Хорошие! – отвечали все.

– Покажи-ка! – говорил он.

Приходилось показывать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие,

– позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли – они сразу крепко прирастали к седлу.

– А я ничуть не боюсь его! – сказал Яльмар.

– Да и нечего бояться! – сказал Оле. – Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки!

– Вот это поучительно! – пробормотал прадедушкин портрет. – Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение.

Он был очень доволен.

Вот и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.

(Голосов: 2. Рейтинг: 1,50 из 5)

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Злой князь

Жил-был злой, высокомерный князь. Он только и думал о том, как бы покорить себе весь свет, на всех нагнать страх одним своим именем. И вот он шел в чужие земли с огнем и мечом; воины его топтали нивы и зажигали крестьянские дома; красные языки лизали листья на деревьях, а плоды поджаривались на обуглившихся ветвях. Часто бедная мать укрывалась с голеньким грудным малюткой за дымившимися стенами, но воины рыскали повсюду, находили их, и начиналась дьявольская потеха! Злые духи не могли поступать хуже. Но князю казалось, что дела шли как должно. День от дня росло его могущество, имя его наводило

ужас на всех, и удача сопровождала его во всех его деяниях. Из покоренных городов вывозил он золото и богатые сокровища, и в столице его скопились несметные богатства: нигде в свете не было ничего подобного. Он повелел строить великолепные дворцы, церкви и арки, и все, видевшие эти чудные постройки, говорили: «Какой великий князь!» Они не думали о бедствиях, в какие он поверг чужие земли, не слышали стонов и жалоб, раздававшихся в ограбленных и сожженных городах.

Сам князь смотрел на свое золото, на великолепные здания и думал, как другие: «Какой я великий князь! Но мне еще мало всего этого! Хочу большего! Ничья власть в мире не должна равняться с моею, не то что превосходить ее!»

И он пошел войной на всех своих соседей и всех покорил.

Плененных королей он велел приковывать золотыми цепями к своей колеснице всякий раз, как собирался проехаться по улицам столицы. Когда же он сидел за столом, они должны были лежать у ног его и его придворных и хватать куски хлеба, которые им бросали.

Наконец, князь повелел воздвигнуть себе на площадях и во дворцах статуи; он хотел было поставить их в храмах, перед алтарем господина, но священники сказали: «Князь, ты велик, но бог выше тебя, мы не смеем сделать этого».

– Ладно! – сказал злой князь. – Так я покорю и бога!

И, ослепленный безумною гордостью, он приказал строить диковинный корабль, на котором можно было носиться по воздуху. Корабль был расписан разными красками и походил на павлиний хвост, усеянный тысячами глазков, но каждый глазок был ружейным дулом. Князь сел на корабль; стоило ему нажать одну пружину, из ружей вылетали тысячи пуль, а ружья сейчас же сами собой заряжались вновь. Сто могучих орлов были впряжены в корабль, и вот он взвился в воздух, к солнцу. Земля едва виднелась внизу, горы и леса казались сначала вспаханном дерном, затем нарисованными на плоской ландкарте и наконец

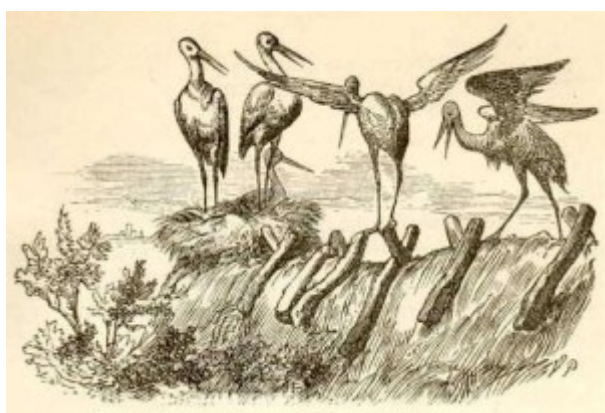
вовсе исчезали в облачном тумане. Все выше и выше подымались орлы; тогда бог выслал одного из своих бесчисленных ангелов, но злой князь встретил его ружейным залпом. Пули отскочили от блистающих крыльев ангела, как градинки; только одна-единственная капелька крови вытекла из белоснежного крыла и упала на корабль, где сидел князь. Она глубоко въелась в дерево и надавила на дно корабля с страшною силой, словно тысячепудовая глыба свинца. Корабль полетел вниз с невероятною быстротою; могучие крылья орлов переломились; ветер так и свистел в ушах у князя; облака, собравшиеся из дыма от сгоревших городов, теснились вокруг и принимали чудовищные формы: огромных раков, протягивавших к князю сильные клешни, катящихся обломков скал и огнедышащих драконов. Князь лежал на дне корабля полумертвый от страха. Наконец корабль застрял в густых ветвях лесных деревьев.

– Я одолею бога! – сказал князь. – Я дал себе клятву одолеть его, и быть по сему! – И он приказал строить новые воздушные корабли; строили их семь лет. Велел он также ковать молнии из твердейшей стали, чтобы взять твердыню неба приступом, и собрал воинов со всех концов своего государства; войска покрыли пространство в несколько квадратных миль. Воины готовы были сесть на корабли, князь подошел к своему, но бог выслал на него рой комаров, один только маленький комариный рой. Насекомые жужжали вокруг князя и жалили его в лицо и руки. Он злобно выхватил меч, но рубил им лишь воздух, в комаров же попасть не удавалось. Тогда он велел принести драгоценные ковры и укутать себя ими с ног до головы, чтобы ни один комар не мог достать до него своим жалом. Приказ его был исполнен, но один комар ухитрился пробраться под самый нижний ковер, заполз в ухо князя и ужалил его. Словно огонь разлился по крови князя, яд проник в его мозг, и он сорвал с себя все ковры, разодрал на себе одежды и голый принялся метаться и прыгать перед толпой своих свирепых, солдат, а те только потешались над безумным князем, который хотел победить бога и был сам побежден комариком!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ (Голосов: 2. Рейтинг: 1,50 из 5)

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Аисты



На крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы, – они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах без дела. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен.

– Вот важно, так важно! – думал он. – У гнезда моей жены стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играли ребяташки; увидав аиста, самый озорной из мальчуганов затянул, как умел и помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:

Аист, аист белый,
Что стоишь день целый,
Словно часовой,
На ноге одной?
Или деток хочешь
Уберечь своих?
Попусту хлопчешь, –
Мы изловим их!
Одного повесим
В пруд швырнем другого,
Третьего заколем,
Младшего ж живого
На костер мы бросим
И тебя не спросим!

– Послушай-ка что поют мальчики! – сказали птенцы. – Они говорят, что нас повесят и утопят!

– Не нужно обращать на них внимания! – сказала им мать. – Только не слушайте, ничего и не будет!

Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов; только один из мальчиков, по имени Петер, не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных. А мать утешала птенцов.

– Не обращайтесь внимания! – говорила она. – Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на одной-то ноге!

– А нам страшно! – сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали

головки в гнездо.

На другой день ребяташки опять высыпали на улицу, увидели аистов и опять запели:

Одного повесим,

В пруд швырнем другого...

– Так нас повесят и утопят? – опять спросили птенцы.

– Да нет же, нет! – отвечала мать. – А вот скоро мы начнем ученье! Вам нужно выучиться летать! Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам. Они будут приседать перед нами в воде и петь: «ква-ква-ква!» А мы съедим их – вот будет веселье!

– А потом? – спросили птенцы.

– Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует! Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом! Так вот, старайтесь изо всех сил, когда ученье начнется!

– Так нас все-таки заколют, как сказали мальчики! Слушай-ка, они опять поют!

– Слушайте меня, а не их! – сказала мать. – После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может! Там есть тоже река, которая разливается, и тогда весь берег покрывается илом! Ходишь себе по илу и кушаешь лягушек!

– О! – сказали птенцы.

– Да! Вот прелесть! Там день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время как нам там будет так хорошо, здесь на

деревьях не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут кусками и будут падать на землю белыми крошками!

Она хотела рассказать им про снег, да не умела объяснить хорошенько.

– А эти нехорошие мальчики тоже застынут кусками? – спросили птенцы.

– Нет, кусками они не застынут, но померзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате и носу не посмеют высунуть на улицу! А вы-то будете летать в чужих краях, где цветут цветы и ярко светит теплое солнышко.

Прошло немного времени, птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и озираться кругом. Папаша-аист каждый день приносил им славных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными штуками! Доставал головою свой хвост, щелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории.

– Ну, пора теперь и за ученье приняться! – сказала им в один прекрасный день мать, и всем четверым птенцам пришлось вылезть из гнезда на крышу. Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями и все-таки чуть-чуть не свалились!

– Смотрите на меня! – сказала мать. – Голову вот так, ноги так! Раз-два! Раз-два! Вот что поможет вам пробить себе дорогу в жизни! – и она сделала несколько взмахов крыльями. Птенцы неуклюже подпрыгнули и – бац! – все так и растянулись! Они были еще тяжелы на подъем.

– Я не хочу учиться! – сказал один птенец и вскарабкался назад в гнездо. – Я вовсе не хочу лететь в теплые края!

– Так ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой, я сейчас

позову их!

– Ай, нет, нет! – сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу.

На третий день они уже кое-как летали и вообразили, что могут также держаться в воздухе на распластанных крыльях. «Незачем все время ими махать, – говорили они. – Можно и отдохнуть». Так и сделали, но... сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями.

В это время на улице собрались мальчики и запели:

Аист, аист белый!

– А что, слетим да выключем им глаза? – спросили птенцы.

– Нет, не надо! – сказала мать. – Слушайте лучше меня, это куда важнее! Раз-два-три! Теперь полетим направо; раз-два-три! Теперь налево, вокруг трубы! Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволю вам завтра отправиться со мной на болото. Там соберется много других милых семейств с детьми, – вот и покажите себя! Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше, так гораздо красивее и внушительнее!

– Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим мальчикам? – спросили птенцы.

– Пусть они себе кричат что хотят! Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листика, ни сладкого яблочка!

– А мы все-таки отомстим! – шепнули птенцы друг другу и продолжали ученье.

Задорнее всех из ребятишек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку об аистах. Ему было не больше шести лет, хотя птенцы-то и думали, что ему лет сто, – он был ведь куда больше их отца с матерью, а что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей! И вот вся месть птенцов должна была

обрушиться на этого мальчика, который был зачинщиком и самым неугомонным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты и чем больше подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше, как перед самым отлетом их в теплые края.

– Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах! Если дело пойдет плохо и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчики ведь будут правы. Вот увидим!

– Увидишь! – сказали птенцы и усердно принялись за упражнения. С каждым днем дело шло все лучше, и наконец они стали летать так легко и красиво, что просто любо!

Настала осень; аисты начали готовиться к отлету на зиму в теплые края. Вот так маневры пошли! Аисты летали взад и вперед над лесами и озерами: им надо было испытать себя – предстояло ведь огромное путешествие! Наши птенцы отличились и получили на испытании не по нулю с хвостом, а по двенадцати с Лягушкой и ужом! Лучше этого балла для них и быть не могло: лягушек и ужей можно ведь было съесть, что они и сделали.

– Теперь будем мстить! – сказали они.

– Хорошо! – сказала мать. – Вот что я придумала – это будет лучше всего. Я знаю, где тот пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока аист не возьмет их и не отнесет к папе с мамой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудные сны, каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям – крошечного братца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем к тем детям, которые не дразнили аистов; нехорошие же насмешники не получат ничего!

– А тому злему, который первый начал дразнить нас, ему что будет? – спросили молодые аисты.

– В пруде лежит один мертвый ребенок, он заспался до смерти;

его-то мы и отнесем злому мальчику. Пусть поплачет, увидав, что мы принесли ему мертвого братца. А вот тому доброму мальчику, – надеюсь, вы не забыли его, – который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем зараз и братца и сестричку. Его зовут Петер, будем же и мы в честь его зваться Петерами!

Как сказано, так и было сделано, и вот всех аистов зовут с тех пор Петерами.

(Голосов: **2**. Рейтинг: **1,50** из 5)

Загрузка...